

Три женщины
в городском
пейзаже

Лида открыла глаза. На улице было светло. Почти светло — в ноябре светло в Москве не бывает. Посмотрела на будильник: половина девятого. Выходит, пора. Вытянувшись в струну и на минуту прикрыв глаза, скинула одеяло и села на кровати. Пора, мой друг. Пора. Увы!

Подошла к окну. Снега еще нет, зато есть подмерзшие лужи, которые непременно растают к обеду. Выходит, надо надевать что-то непромокаемое. Но не резиновые же сапоги!

В комнате было полутемно, и Лида раздернула плотные шторы. Светлее не стало. Поздняя осень — паршивое время. А про ноябрь нечего и говорить. Скорее бы зима! Снежок и морозец, ощущение приближающегося праздника и ощущение наступающих перемен.

Какая наивность: какие перемены, перемен давно нет. А если и есть, то точно не к лучшему. Но странное дело — ощущение праздника неизменно! Как казалось в далеком детстве: завтра перевернется страница календаря, проводим

старый, надоевший и не очень удачный год, наступит первое января и — все будет иначе. По-другому. Но точно лучше, чем в прошлом году. Как же! Все оставалось по-прежнему. Странно устроен человек: взрослея, он перестает верить в Деда Мороза, в новогодние сказки, в чудеса, да просто почти перестает верить, в том числе людям. А вот это волнующее, трепетное ощущение перемен в новом году остается.

Умывшись, Лида включила кофеварку и, широко зевнув, села на стул. Боже, как все неохота: готовить, собирать сумку, причесываться, краситься и одеваться. Неохота выползть из теплой квартиры и спускаться в метро. А что охота? Все просто: бухнуться в кровать и... уснуть. Просто закрыть глаза и ни о чем не думать. Хотя смешно — разве такое бывает?

Заворчав, кофейная машина раздраженно выплюнула кофе. По кухне поплыл любимый запах. «Этот запах и примиряет с суровой действительностью, — подумала Лида. — И перед работой, и в выходные. Ну и вообще в любое время, всегда». Есть не хотелось. Ей никогда не хотелось есть по утрам. Но это неправильно, и Лида со вздохом отрезала кусок сыра. В чашку плеснула молока. И, чуть подумав, положила чайную ложку сахара. Нельзя, но в субботу можно. Должны же у человека быть послабления.

На маленькой, шестиметровой, кухне было уютно. Лида с гордостью оглядела свежий ре-

монт: молодец, что решилась! Решилась взять кредит, сделать ремонт и поменять кухонную мебель. Правда, вслед за этим потянулись занавески, светильник, ну и вся техника. Ничего, справлюсь. Главное — красота!

Мама, разумеется, не одобряла и отговаривала — мама гордилась, что за всю жизнь не заняла ни одного рубля. «Ни од-но-го, — по слогам повторяла она, — и спала спокойно. Чего-то нет? Значит, не надо! До этого же обходилась. Ну и вообще — предела хорошему нет: сделаешь одно — захочется остальное». Странная психология, но живущих в долг — а в нынешнее время в кредит — мама не только опасалась, но и презирала.

Мама есть мама. Ольга Ивановна — человек железных принципов и твердых постулатов, незыблемая скала, вектор правильных поступков и человек, не идущий на компромисс. Характер плюс специальность — в недавнем прошлом она была сосудистым хирургом, профессором и заведующей отделением, автором монографий и научных трудов. Словом, медицинская элита и уважаемый человек. «Без своего характера я бы ничего не достигла, — заявляла мама и добавляла с усмешкой: — И кстати, все успела. И замуж вышла, и дочь родила. А не только карьеру делала. Ну и за собой следить успевала, ты это знаешь».

Чистая правда, со стороны все было именно так: Ольга Ивановна Вершинина была краси-

вой и ухоженной женщиной. Нет, яркой поклонницей моды и шмоточницей она не была — это для бездельниц! Но стилия придерживалась — узкие юбки, а потом и брюки, модные водолазки и пиджаки, невысокие, но все же каблуки. Немного косметики — чуть-чуть тронуть тушью ресницы и светлой помадой губы. Правда, длинные ногти и лак на ногтях исключался — хирург.

И духи мама любила — горьковатые, острые, похожие на мужские и непременно французские.

У Ольги Ивановны был красивый профиль и не очень удачный фас. «Если я хотела понравиться, — смеялась мама, — то всегда поворачивалась в профиль!» Да, и юмор иногда был маме не чужд. Правда, нечасто — женщиной она была серьезной и строгой.

О том, что Лида взяла кредит да еще и немало заняла, мама не знала. Иначе — точно скандал. А если не скандал, то вереница упреков. И Лида с легким сердцем наврала, что накопила. Она часто маме врала — так было проще. Но мама отнеслась к этому с сомнением: «Ты и накопила? Ха-ха. Ни за что не поверю!» Однако Лида стояла на своем.

Правду знала только Тася — от нее Лида ничего не скрывала. Тася обрадовалась и, как всегда, поддержала: «Умница, молодец, что собралась и решилась. Деньги — мусор, пыль,

Три женщины в городском пейзаже

они приходят и уходят, ну и вообще любить деньги безнравственно. А обновление, радость и удовольствие — это все. Лидуша, ты только представь, — и Тасино лицо озарялось улыбкой, — выходишь утром на кухню, заводишь свою кофеварку, включаешь музыку и — балдеешь. Вокруг красота — новый гарнитур, новые стены, новый светильник. И ты во всей этой сказке. А, Лидуся? И у тебя тут же, в секунду, поднимается настроение».

Так все и было — Лида балдела, и настроение улучшалось. Правда, понимала, что никакого моря в этом году не будет, но свой ежедневный кайф ловила — в конце концов, отпуск у нас две недели, а все остальное время мы на работе и дома.

Да, кухня получилась именно такой, о какой она мечтала: желтенький гарнитур — мама критически хмыкнула: «Веселенький», — занавески в лимонных бабочках, зеленоватый кафель на полу, зеленый светильник. Все зелено-желтое, с оранжевыми вкраплениями (скатерка, тарелки, керамика). Такой обнадеживающий, солнечный, летний микс — в общем, красота. Кухня — лето! Теперь наплевать, что она живет в городе с вечно серым, металлическим небом и слабой надеждой на солнце.

«Теперь бы осилить ремонт в остальной квартире, — вздыхала Лида. — Но это из области недостижимого и несбыточного, увы». Ну

и ладно! Хватить хныкать и нюниться. Как учит Тася, радуйся тому, что есть.

Лида допила кофе и открыла холодильник. Жареная курица — раз. Винегрет — два. Лимонный пирог — три. Отлично, мама будет довольна. Хотя когда и чем мама была довольна? Вопрос.

На часах было двадцать минут десятого, и, вздохнув, Лида взяла телефон.

— Привет-привет. Давно встала? А ты? Как спала? Поняла. Нет, я нормально. Ну да, в моем возрасте... Что поделываю — выпила кофе. Да нет, встала рано. Так, проковырялась... Копуха? Ну да, а что может измениться? Какая уж есть, извини. — Обиделась: — А что, даже в субботу не имею права?

Сто раз давала себе зарок — на маму нельзя обижаться. Во-первых, бессмысленно. И во-вторых тоже.

— Когда буду? Ну мам! Сейчас приберусь. Почему грязно? Нормально. Кому тут грязнить? Так, вытру пыль, протру полы, — Лида вздохнула, — и начну собираться. К часу, наверное, буду. Хорошо, мам, без «наверное». Наверняка. Ну все, пока, до встречи. Нет, я не обиделась. Да говорю тебе, что все нормально! Да и на что обижаться?

Лида прошлась по квартире. Нет никакой пыли. Да и какая пыль в ноябре да при закрытых окнах? Пыль подождет. Вообще все подождет. И мама в том числе. А сейчас... Сейчас

она плюхнется и повалится. А может быть, и поспит. Хотя бы на это она право имеет?

Встала в половине двенадцатого — пора. Подождет — не подождет, а выслушивать претензии никто не хочет. Тем более в сорок пять лет.

Уложила в контейнер курицу, пирог и винегрет. Надела пальто, мимоходом глянула в зеркало: бледная поганка. Но краситься не хочется. Да и зачем? Встретить свою судьбу она давно отчаялась. И вечно быть *наготове* давно надоело.

Мама жила в пяти остановках — по московским меркам недалеко. Так и менялись, чтобы жить рядом. Обмен искали долго — мама капризничала. То далеко от метро, то низкий этаж. То загаженный подъезд, то непонятные соседи. Дальние спальники даже не обсуждались — мама привыкла жить в центре. Правда, тогда еще была работа, это сейчас она на пенсии. Лида не спорила — спорить с Ольгой Ивановой — дело пустое и безнадежное.

Ну и в конце концов все совпало: мама поехала на Шаболовку — уже центр, недалеко Даниловский рынок, кинотеатр, Донской монастырь и рядом метро. Да и дом не современная коробка с потолками в два шестьдесят, а послевоенный, построенный пленными немцами, а они, как известно, не халтурили. Две комнаты в тринадцать и восемнадцать метров, нормальная кухня. Окна во двор. Тишина. Четвертый этаж, тихие соседи. Мама гуляла в Донском, хо-

дила на рынок, смотрела телевизор — словом, жила, как живут тысячи обычных пенсионеров. И со временем почти смирилась со своим положением. Почти... Потому что смириться ей было непросто.

Всю жизнь она работала. Оперировала, спасала людей, вела студентов, отвечала за тяжелое отделение. Да и семья — муж, дочь, хозяйство. А потом выросла и ушла замуж дочь. Умер муж. И подошла пенсия. Вот это было самое страшное.

Уход Лидинового отца мама пережила довольно спокойно. Поплакала, погоревала и — объяснила, что, как врач, знала, что с таким диагнозом он долго не проживет.

А вот выход на пенсию переживала ужасно. Еще бы — подсидел ее самый любимый и преданный ученик. Самый талантливый, выращенный ею и выпестованный. Вроде и обычная история, каких тысячи. А попробуй через это пройти. Попробуй смириться, когда это касается лично тебя.

С того дня мама отрезала прежнюю жизнь — никаких посещений, никаких учеников и коллег. Ни-ко-го! Она вообще никого не желала ни слышать, ни видеть — даже свою подругу, с которой проработала двадцать пять лет, старшую сестру отделения Мирославу, а они были близки. И Валерьвалерича, одноклассника, коллегу и просто хорошего друга. Никого из

бывших коллег. «Та жизнь закончилась, — говорила Ольга Ивановна. — Точка. И ничего не хочу ворошить, как ты, Лида, не понимаешь? Придут со своим тортиком, обшарят глазами, как тут и что, изучат внимательно: «Ох, постарела ты, Оля, поправились! Еще бы — сидишь сиднем. А что Лида? Замуж вышла?» И начнут лезть в душу. А я порежу торт — а куда деваться, — налью чай — и начнется: сплетни, слухи, разные истории. А главное — обсуждения нового заведующего. Ну и сравнение: как было при Ольге Ивановне и как стало при этом...»

Имени предателя мама никогда не называла: «тот, этот, новый заведующий».

«Зачем мне лишние травмы и лишние страдания, — заключала мама, — вот ответ. Я уже успокоилась, пережила. К чему возвращаться, зачем ворошить?»

«А может, она права, — думала Лида. — Только я бы так не смогла. И папа бы не смог — куда нам до мамы».

Бодрая и свежая, одетая в красивое домашнее платье мама посмотрела с укором:

— Полвторого, Лид! А ты обещала к часу!

Ну началось. Главное — не вступать в полемику, и Лида вяло пробормотала:

— Мам, ну что тебе, на работу? Подумаешь, полчаса. Ну извини. А собиралась гулять! Ну я коротенько, надолго не задержу, — раздеваясь, бурчала Лида. — На сумку, убери в холодильник

ник. — Недовольная, мама пошла на кухню. Лида поплелась за ней.

Как всегда, идеальный порядок: не кухня — операционная. Белоснежное полотенце, блестящие приборы, сверкающая плита. Да и что бы ей не сверкать? Мама совсем не готовит.

«Всю жизнь была эта мука, — однажды призналась мама. — Галеры». Готовить она ненавидела. Да и на работе уставала. А деваться некуда — семья.

Тася говорила, что кухня любит внимание. А пренебрежения, халтуры не любит. Не вложишь душу — ничего не получится. Душу в готовку мама не вкладывала, не все женщины кулинарки. Мамина готовка была невкусной, какой-то скупой. Не по содержанию, а по виду и вкусу. В общем, без души. Невкусные водянистые супы, пресные котлеты, жидкое пюре, переваренные макароны. Да и откуда силы, если простоять у операционного стола пять часов кряду?

Отец ужинал молча. Не хвалил, но и не ругал. Поев, ставил со вздохом тарелку в мойку.

Придя после школы, Лида выбрасывала обед — суп в туалет, второе — котам у подъезда. Стыдно, но есть мамину стряпню не хотелось. В выходные, когда за столом собиралась семья, было хуже — не выкинешь. Ну и давилась.

— Не нравится? — обиженно фыркала мама.

Лида начинала оправдываться. Всю жизнь она перед ней оправдывалась. Потому что они

разные. Совсем они разные, мать и дочь. Лида пошла в отца. «В отцовскую породу», — говорила мама с неудовольствием. Подтекст был такой: все Вершинины слабаки. И бабушка Рита, мамина свекровь. И дед Андрей, свекор. И золовка Зоя, младшая сестра отца. Все «плыли по течению» — а жизнь — это «сопротивление и противостояние».

Сопротивление. Чистая правда — сопротивляться и противостоять Лида не умела. Со временем поняла и вывела формулу — сильное притягивает слабое. И наоборот. Все справедливо. Сильная мать — слабый отец. Впрочем, слабым отца она не считала, потому что очень любила. Больше всех на свете Лида любила отца. Папу, папулю. Папочку, папку.

И бабу Риту любила, и деда Андрея. И тетю Зою — всех Вершининых. Маминых родных Лида не знала — в четырнадцать лет мама осталась круглой сиротой. «Надо было выживать, — повторяла Ольга Ивановна. — И я научилась. Противостоять и сопротивляться». Детдома удалось избежать — девочку взяла тетка, двоюродная сестра матери. Скупая, молчаливая и одинокая Сима. Вредная, колючая, но, как оказалось, не злая. Сама не из счастливых — бездетная вдова. Жила тетка Сима в собственном домике на Преображенке. Комнатка и терраска. И — полная нищета: Сима работала уборщицей на санэпидстанции.

Близкими людьми они с теткой не стали, но всю жизнь Ольга Ивановна была благодарна Симе за то, что та избавила ее от детского дома.

Тетка Сима прожила до девяноста трех лет, и Лида помнила унылые и скучные поездки на Преображенку. И помнила тетку — высокую, высохшую, с темным лицом. Лида ее боялась.

На кухне мама рассматривала дочкины гостинцы и хмурила брови:

— Лида, зачем? Я что, курицу не могу себе поджарить? Или накрошить винегрет? За пирог спасибо, вечером с чаем.

Лида молчала — вступать в дискуссию не хотелось. Но знала — никакую курицу мама жарить не будет. Как и крошить винегрет. В лучшем случае отварит готовые пельмени, а в худшем — разогреет в микроволновке готовые котлеты.

Выпили чаю. Поговорили. О чем? Да ни о чем. Поругали погоду, посетовали на слабое отопление, обсудили дурацкие телепередачи.

«Странно, — думала Лида, — мама ведь умница, и ум у нее еще ого-го, живой, острый, да и память прекрасная. А разговаривать не о чем». Всю жизнь мама жила работой, и ничто другое ее не интересовало. А когда работа кончилась — кончилась жизнь. Нет, она по-прежнему сопротивлялась — «жизнь — это сопротивление», — гуляла, читала журналы, смотрела кино, иногда делала укладку, подкрашивала глаза. Только все это ей было неинтересно. Кайф был только в работе.

«Теперь у меня одна радость, — грустно усмехалась Ольга Ивановна, — длинные ногти и маникюр! То, чего я была лишена всю свою жизнь. Не смейся, Лида, — раз в три дня перекрашиваю».

После чая Лида стала собираться домой. Чувствовала, что маме хочется остаться одной. Что поделаешь — она давно привыкла к одиночеству. Да и возраст, что говорить.

Задерживать дочь Ольга Ивановна не стала, сухо чмокнула в щеку.

— Ну, давай. Спасибо за гостинцы — сегодня пирую. Да, у тебя все нормально?

Лида кивнула:

— Нормально.

— И слава богу, — мама облегченно вздохнула. — Ну пока!

На улице Лида усмехнулась: «Нормально? Нормально. Ну и слава богу». Действительно — слава богу. Только вот вряд ли у нее все было нормально. Ничего *нормального* у нее не было. С тех пор, как ушел Сережа.

Лида медленно шла к метро. Ну вот, что называется, навестила. Какая формальность — их общение с матерью! Никакого тепла, никогда и ни при каких обстоятельствах. Даже когда Лида умирала после ухода Сережи. Тогда мать сухо прокомментировала:

— Знаешь, я ему никогда не доверяла. Приглаждалась к нему и...

— Что — и? — резко спросила Лида.

Мать махнула рукой:

— Да чуяла, что ли. У него было такое лицо, — задумалась мама, — как будто он что-то замышляет.

— Глупость — что-то замышляет. Ох, мама! Все эти годы Сережа был самым преданным, самым нежным и самым любящим мужем, и мне казалось, что счастливее меня женщины нет.

— И куда все это делось, куда ушло? — желчно осведомилась мать. — Ну если все это было?

Куда ушло? Хороший вопрос. А куда уходит любовь? Кто-то может ответить?

— Просто он, мама, влюбился. Такое бывает. Мать с сомнением покачала головой:

— Не знаю, Лида. Бывает, наверное. Только я знаю одно: есть ответственность. За тех, кто с тобой рядом. Есть семья. В конце концов, любовь не самое главное — порядочный человек из семьи не уходит.

— Хватит, мам, — перебила Лида, — пожалуйста, хватит! И прошу тебя, не делай из Сережи подлеца. Он и сам мучается и очень страдает.

Мать звонко расхохоталась:

— Ну и дура ты, Лида! Страдает, ага! В объятиях новой супруги!

Жестокость — не пожалеть собственную дочь! Женщина, а сочувствия никакого! Папа, папа, кажется, ты был неправ.

После ухода Сережи прошло десять лет. Коротких, как мгновение, и бесконечных, как вечность. И не было дня, чтобы Лида его не вспоминала. Правда, со временем сердце сжималось все реже — действительно время лечит.

За все эти годы она ни разу не посмотрела на других мужчин. Не потому, что праведница. Просто — не надо. Она и представить не могла, что кто-нибудь, кроме Сережи, возьмет ее за руку, погладит по волосам, дотронется до ее плеча. А уж обо всем остальном и говорить нечего.

— Ну-ну, — комментировала мама, глядя на бледное и измученное лицо дочери. — Продолжай в том же духе. А тебе, между прочим, уже за сорок! Думаешь, кто-то будет ждать, пока ты оклемаешься? Езжай на курорт, в пансионат, наконец! Ходи в музеи, на выставки! Глядишь, и найдешь какого-нибудь дурака. А что, всяко бывает!

Лида хохотала:

— Мам, а может, на кладбище? Чтоб подцепить богатого вдовца? Эх, мама, — вздыхала Лида, — музеи, концерты... В такие места ходят со своими женами. Или с подругами. И поверь, никому не интересна женщина абсолютно рядовой, заурядной внешности, да к тому же «хорошо за сорок». Оглянись — вокруг не клумбы, райские сады! Такие женщины по Москве ходят — не оторваться! Даже я иногда оглядываюсь — такое бывает? А ты про женщин «хоро-

шо за сорок». Да нет у них шансов, понимаешь? Почти нет! Как, впрочем, и у меня.

Но мама спорила, возражала — каждый кузнец своего счастья. Характер — это судьба, а судьба — это характер. В общем, как ни крути, а Лида оставалась в слабых, робких и нерешительных неудачниках.

«Даже такое ничтожество, как этот Сережа, и тот слинял», — цитата из Ольги Ивановны.

С серого хмурого низкого неба посыпал снежок не снежок — так, крупа. Мелкая, колючая, рассыпчатая, как пшенка.

«Уф, отстрелялась, — улыбнулась Лида. — Сейчас приеду домой и сварю себе пшенную кашу! Изюм, кажется, есть, сливочное масло тоже. Разваристую, сладкую размазную, с хорошей горстью изюма и с обязательным последним штрихом — естественно, когда каша уже выключена и, как говорил папа, допревает под крышкой, — так вот, последний штришок — здоровый кусок сливочного масла, который растечется, расплавится, разойдется в горячей каше жирным озерцом, потечет по бокам, по стеночкам, проникнет на самое дно, пропитает, насытит».

Так они делали с папой. Папа обожал всякие каши. Смеялся: «Деревенские корни, Лидка! Щи да каша — пища наша». Какие там «деревенские»! Папа родился в Москве, на Лубянке. Как и бабушка Рита. А дед Андрей был и вправду из деревни. Но приехал в столицу в семнадцать.

«Ой!» — Лида вспомнила: молока, кажется, нет. Не страшно, забежит у дома в «Пятерочку». И, прибавив шагу, она представила любимую «цыплячью» кухню, зеленый абажур, теплые тапки с заячьей мордой и казанок с горячей масляной кашей с изюмом. А рядом с тарелкой — здоровенная, на пол-литра, любимая чашка с крепким и сладким, непременно с лимоном, английским чаем.

В вагоне Лида увидела себя в стекло и, хмыкнув, отвела взгляд. Ничего хорошего. Усталая, грустная тетка «хорошо за сорок». Не женщина — именно тетка. Таких вон сколько, целый вагон! Кемарят, прижав к себе сумки — съехавшие набок шапки, разъехавшиеся полы пальто, поплывшая тушь, смазанная помада. Дреmlют и тоже мечтают о каше. Или о котлете, какая разница? Правда, скорее всего, дома их ждет семья — голодные дети и муж.

А Лиду ждет тишина. А может, и хорошо? Хорошо. Определенно хорошо и даже прекрасно. Как и домашние брюки на мягкой байке, старая майка с рукавами, застиранная донельзя, — видела бы ее мама!

«Заячьи» тапки и запах почти готовой каши — разваренной крупы, чуть подгоревшего молока, сладковатый запах сливочного масла. Запах дома. Все так и было, и ее нехитрые мечты сбылись. Угнездившись в кресле и поджав под себя ноги, Лида устроилась поудобнее. Ела пря-

мо из кастрюльки, выуживая разбухший, почти черный изюм, стараясь зачерпнуть его вместе с озерцом растаявшего масла — так вкуснее.

По телевизору, как всегда, чушь — субботний вечер, а смотреть нечего. По всем каналам натужно и тупо шутят уставшие от самих себя юмористы. Тоска. Про новости и говорить нечего — глянешь на ночь и не уснешь.

Съев вожделенную кашу и выпив чаю, Лида посмотрела на часы — Тася!

Тася отозвалась сразу, после первого же звонка.

— Лидуся, милая! А я уже жду не дождусь, старая дура! Да что там про меня, — возмутилась она на Лидин вопрос «как дела». — Дела мои скучные, стариковские. Рассказывай про себя! И подробненько, девочка! Без пропусков — ты знаешь, мне все интересно!

«Всё как всегда», — в очередной раз, в сто-тысячный раз подумала Лида, сравнив двух женщин, маму и Тасю. Самых близких и самых родных. А больше никого у нее и не было.

Тасе и вправду было все интересно — все и в мельчайших подробностях. Как спала, как съездила к Ольге, как Ольга, как она себя чувствует? Что ешь? О, пшеничную кашу? Мммм! Прекрасно! Вот и наводка — завтра сварю себе пшеничную кашу!

— Да, — виновато сказала она, — на бутербродах... Ну что тут поделать, ты меня знаешь:

когда не для кого готовить, так и не готовлю. Вот ты приедешь, и устроим пир. Лидуся, милая, успокойся! В моем возрасте уже наплевать, что вредно и что полезно. Можно есть то, что хочется, и получать удовольствие. А колбасу — ты же знаешь — я люблю больше всего на свете. Помнишь, как называл меня Валя? Вот-вот, колбасная душа. Завтра приедешь? — расстроенным голосом уточнила она. — Ой, Лида, не надо! Такая погода — приличный хозяин собаку не выведет. Нет-нет, умоляю! Да все у меня есть, ты о чем? Да и что мне надо? Полпалки «краковской», — с виноватым смехом сказала она, — и целый белый батон! Два йогурта, простокваша. Да всего навалом, Лидусь, не волнуйся! А приезжать я тебе не разрешаю, ты меня слышишь? Запрещаю, и все! Отваляйся, отоспись. Отдохни! Почитай. Что у тебя на тумбочке, кстати? Неохота читать? — растерянно переспросила она. — Ну это бывает. Послушай музыку, посмотри какой-нибудь старый фильм. Ой, да что я суюсь со своими советами. А то ты не найдешь, чем заняться! А с Настей ты давно не встречалась? Тоже неохота? Ну я понимаю — Настя заговорит, голову заморочит, мало не покажется. Тогда отдыхай, просто побудь дома, моя хорошая. Договорились? Ну все, я тебя обнимаю. Да что ты пристала! Говорю тебе — у меня все хорошо. Ну все, отстала, старая липучка, спокойной ночи.

«Договорились, ага, как же, — улыбнулась Лида. — Все равно поеду, неделю не была, соскучилась. Торопиться не буду, отосплюсь. Отосплюсь и поеду. И все куплю по дороге».

И дело совсем не в продуктах — Тася с голоду не умрет, Лида постаралась. Зная Тасину нынешнюю лень, купила впрок консервов — рыбных, мясных, овощных. Круп и макарон тоже навалом — открой банку тушенки, смешай с макаронами, вот и обед. Дело тут не в продуктах, совсем не в продуктах. Просто Лида по Тасе очень соскучилась. Вот как бывает.

* * *

Когда отец решил познакомить их с Тасей, она долго не могла прийти в себя. Как это так? Разве так может быть у приличных людей? Разве это возможно? Нет и нет, никогда! А как же мама? Это же абсолютное предательство. Предательство безо всяких там отговорок. Самое гнусное предательство — знакомиться с любовницей отца! Кем она будет после этого? От возмущения чуть не задохнулась:

— Пап, ты серьезно? — Слезы брызнули фонтаном, как у клоуна в цирке.

Лида отпихивала отца, когда он пытался обнять ее и успокоить.

— При чем тут «ты взрослая»? При чем тут вообще я? Это, прости, ваши дела! Ваши тем-

ные делишки, папа! А ты хочешь вовлечь меня в это? В эти ваши делишки?

— Это не делишки, Лида, — со вздохом ответил отец. — Это, девочка, вся моя жизнь.

Потом поняла — он знал, что болен, и понимал, что осталось ему немного. Год, два, пять, десять — точного ответа никто не давал. Как-то обмолвился:

— Мама сильная. Крепкая, как дуб. У мамы есть ты и работа. Есть смысл жизни. Мама выдюжит в любом случае, ты и сама это знаешь. А Тася... У нее никого. Вообще никого, понимаешь? Даже дальней родни. Только я, Лида. Ну и, надеюсь, ты.

Лида плакала:

— Нет, пап! Я тебя умоляю! Я не смогу, понимаешь?

— Я очень тебя прошу, — отчеканил отец, — очень, Лида. Кажется, так я еще никого не просил! Ты пойми — она очень слабая и одинокая. Не будет меня — не будет ее.

— А я? — тихо спросила Лида. — Обо мне ты подумал?

Он усмехнулся:

— А как ты думаешь? Только поверь, Тася станет тебе родным человеком. Близким и дорогим. И ты мне еще скажешь большое спасибо!

— Я уже говорю тебе большое спасибо, ты разве не слышишь? — захлебываясь слезами, кричала Лида.

Отец боялся, что Тася не сможет пережить его смерть. Понимал, что он — смысл всей ее жизни.

— Пятнадцать лет, Лида. Целая жизнь, понимаешь? Ты только представь — пятнадцать! Пятнадцать лет ожидания — когда позвоню, когда приеду. И все. Больше ничего у нее не было. Одно ожидание — томительное, тревожное, мучительное и — бесконечное. Я позвонил — и жизнь продолжалась. А зачастую и позвонить не получалось — из дома не мог, как ты понимаешь. Звонил перед уходом с работы — ровно в семнадцать сорок пять. Наше с ней время. Коротко: «Как ты? У меня все хорошо». Пара фраз — кругом одни уши. На работе все понимали — звоню любовнице. Раз-два в неделю мы встречались на десять минут у метро. Просто чтобы повидаться, посмотреть друг на друга, подержаться за руки — как воры, как шпионы, с оглядкой — не дай бог кто увидит. Но посмотрели, подержались за руки, и можно жить дальше. Приезжал я к ней пару раз в месяц. Иногда три, больше не получалось. А ждала она каждый день. Каждый! Потому что вырывался я неожиданно, незапланированно, как получится. Как все женатые люди. Приезжал накоротко — час, два, три. И вот за эти несчастные пару часов мы не могли наговориться, представляешь? Перебивали друг друга, боялись что-то забыть, пропустить. А потом я уходил. Если бы ты знала, как она на меня смотрела! Если бы ты знала, дочка...

Несколько раз мы расставались. Вернее, пробовали расстаться. Я сказал сразу — из семьи не уйду. Дочь не оставлю, да и жену тоже. Ольга спасла мне жизнь. А Тася, — отец улыбнулся. — А Тася спасла мою душу.

Лида знала семейную историю знакомства родителей. Отцу стало плохо в лаборатории, упал посредине рабочего дня. Началась суета, бестолковая беготня и крики о помощи:

— Валька умирает! Вальке Вершинину плохо!

Он помнил, что прибежала сестричка из медпункта, растерянная, перепуганная. Наконец кто-то сообразил вызвать «Скорую», кто-то распахнул окно. Кто-то расстегнул ворот рубашки и ослабил брючный ремень. Сквозь замутненное сознание он слышал испуганный шепот:

— Что, помер? О боже, такой молодой! Заткнись, идиотка! Да жив он, дышит! Держись, Валька! Держись, старик!

Приехала «Скорая». Погрузив на носилки, его запихнули в машину. Там ему стало хуже — он снова терял сознание, проваливаясь в темный колодец. Слышал только сирену — значит, включили. И голос врача:

— Жми, Игнатъич! Не довезем. А жалко, такой молодой. Да и зачем нам жмур — не отобьемся.

Ему почему-то было не страшно — смешно. «Жмур». Это он — жмур? Вернее, кандидат в жмуры? Ха-ха. Что называется, приплыли.

Оперировала его молодая женщина. Он слышал, как к ней обращались — Ольга Ивановна.

Сквозь пелену сознания он с усилием на секунду приоткрыл глаза и увидел эту Ольгу Ивановну — крепкую, широковатую в плечах, с длинными темными бровями и огромными зелеными глазами — тревожными и настороженными. Красивыми невозможно и очень строгими, как у директора школы. Больше ничего видно не было — белая, по брови, шапочка и маска.

На следующий день она зашла в реанимационную палату, и он узнал ее по глазам — таких зеленющих, «крыжовенных» глаз он раньше не видел. И теперь, без низко надвинутой шапочки и маски, он разглядел и все остальное — красивый прямой аристократический нос, полноватые бледные губы, плавные скулы и все тот же строгий, даже суровый взгляд.

— Как самочувствие? — строго спросила она.

Валентину показалось, что она немного смутилась. С трудом разлепив спекшиеся губы, он что-то забалагурил. Врачиха все больше хмурилась и, кажется, была им недовольна.

С того дня он ждал встречи с ней.

Кое-что выпытал у ночной медсестрички: Ольга Ивановна Гольшева, не замужем, бездетная. Строгая очень, ответственная и, говорят, с большим будущим. «С медицинским, с каким! Вы что, Вершинин? Все шутите, да?»

Вздыхл и разводил руками: «Простите, шучу!»

На третий день его подняли. С одного бока — рыжая и конопатая, смешливая медсестра Галочка, с другого — суровая Ольга Ивановна. Сосудистый хирург, надежда отделения и медицины, человек молодой, но уже снискавший уважение. По всему видно — умница, врач по призванию.

Виделись они каждый день. Утренний обход — обязаловка. А вот вечером, после тихого часа... Кажется, по велению сердца.

Или он все придумал?

Но если доктор Гольшева не заходила перед уходом, он начинал волноваться. Выползал в коридор, слонялся у ординаторской.

Караулил. Обеспокоенно спрашивал у сестричек:

— А что доктор Ольга? Ушла?

Как-то у нее было ночное дежурство. Вершинин пошел в туалет покурить. У окна стояла докторша. Прямая спина, волосы убраны под колпачок. «Интересно, какие у нее волосы», — подумал он и спросил:

— Не помешаю?

Окинув его пренебрежительным и равнодушным взглядом, она усмехнулась:

— Мне — нет. А вот себе... помешаете. Курить вам, Вершинин, строго противопоказано! Не зря же я вас починила! И что? Вся работа насмарку? Я, знаете ли, очень старалась.

А ему вдруг захотелось прижать к себе и обнять эту зеленоглазую, красивую и усталую женщину. Ей-богу, еле сдержался.

Выписали его через два дня.

Теперь он караулил докторицу у выхода из отделения, чтобы вручить цветы и конфеты. Обычная благодарность, не более. Нет, она, кто ж спорит, была хороша! Но кадрить ее, кажется, не было смысла — слишком сухая, слишком строгая, серьезная не по годам. Ну и вообще — недоступная. Как с ней общаться?

Увидев растерянного, держащего за спиной букет гвоздик больного Вершинина, Ольга Ивановна растерялась и, кажется, разозлилась. И точно очень смутилась:

— Вы что, Вершинин? В своем уме? Нет, — возмутилась она. — Нет, мне не надо! Я не возьму!

С трудом всунув непокорной врачихе букет, уронил при этом конфеты. Коробка разлетелась, а даритель, смутившись, как подросток, рванул вниз по лестнице.

Вслед услышал:

— Куда вы, Вершинин, вам бегать нельзя. Честное слово, вы сумасшедший!

На улице попытался успокоиться, било как в лихорадке — походил, покурил, немного пришел в себя, но домой не уехал — торчал у ворот больницы. Увидев его, она, кажется, не удивилась — выходит, ждала?

Очень скоро Ольга Ивановна Гольшева стала Вершининой. И еще — Олькой. Тогда еще он звал ее Олькой.

Через полтора года у Вершининых родилась дочка Лидочка.

Три года в огромной коммуналке с родителями мужа. Три года за ширмой, с ночными выступлениями дочки, с ворчанием свекров и все же с их помощью — через полгода после рождения Лидочки Ольга бросила кормить и вышла на работу. С внучкой сидела бабушка Рита. Даже в детстве Лида понимала, что мама и бабушка не любили друг друга. Не понимала — что может понимать маленький ребенок? Чувствовала. Слышала, как баба Рита ворчала: «Не мать и не жена, сплошной хирург. Не повезло Вальке».

Долгое время маленькая Лидочка уверенно считала, что «хирург» — это ругательство.

Да и мамину нелюбовь к бабе Рите Лидочка чувствовала — слышала, как та выговаривала ей: «Маргарита Васильевна! Зачем вы кладете в кашу такое количество масла? Хотите, чтобы у ребенка была больная печень?»

Баба Рита смертельно обижалась и замолкала на несколько дней. Но потихоньку ворчала — это у нее больная печень! Желчью исходит. Бросается, как собака: то не так, это не так. Бедный наш Валька! Сколько той жизни, чтобы так ее губить.

Баба Рита и отвела Лидусю в первый класс. Отвела первого сентября, а второго, на следующий день, умерла.

Лида помнила, как мама рыдала на кладбище и просила у бабы Риты прощения. И помнила, как это ее удивило. Надо же — ведь мама бабушку не любила. И что она плачет, что, как сказала соседка, убивается?

Когда Лиде исполнилось семь, Ольге Ивановне Вершининой, перспективному специалисту, выделили маленькую двухкомнатную квартиру за выслением.

А через четырнадцать лет, учтя все заслуги доктора наук Вершининой, дали квартиру побольше — у метро «Ленинский проспект», в новом кирпичном доме: три комнаты, два балкона, кухня в двенадцать метров. Не квартира — сказка! «Просто какое-то чудо», — как говорили знакомые.

— Мне с женой повезло, — смеялся Валентин Вершинин. — Такая квартира!

Но в голосе его чувствовались грусть, ирония и даже сарказм.

Нет, скандалов у них никогда не было, во всяком случае, ссор родителей Лида не слышала. Мама пропадала на работе и приходила поздно, не раньше девяти, часто уезжала на конференции и в командировки.

Хозяйством Вершинины себя не обременяли — что есть, то и хорошо. В двенадцать лет

Лида научилась готовить. Особенно ей удавались торты и пироги, которые она пекла, чтобы порадовать родителей.

Комплиментов мама не раздавала, реагировала сухо:

— Спасибо, все было вкусно.

Кажется, она вообще не замечала, что ест и что пьет. А вот отец на похвалы не скупился:

— Ох, Лидка! Ну и повезет какому-нибудь идиоту!

После ужина мама уходила к себе, и ее было можно понять: две операции, потом совещание.

На кухне оставались отец и Лида. Лида мыла посуду, отец что-то рассказывал. Лиде всегда было с ним интересно. Это были самые счастливые минуты их жизни — она и папа. И их разговоры.

Словом, обычная семья, со своими сложностями, проблемами, радостями. Таких миллионы. Мама, папа, ребенок. Квартира, хозяйство, планы на отдых — все как у всех.

А потом выяснилось, что Тася, любовница отца, уже была в его жизни. Ну и в Лидиной и маминой заодно. Выходило, что Тася появилась в жизни отца вскоре после его женитьбы.

В пятнадцать лет Лида наотрез отказалась знакомиться с Тасей:

— Перебьетесь.

Любила ли она мать? Сложный вопрос. Нет, конечно, любила. Гордилась ею, восхищалась,